



СУДЬБА

ЖИВАЯ ИСТОРИОСОФИЯ Ф.А. СТЕПУНА

© 2017

О.С. Соина, В.Ш. Сабиров



**Соина
Ольга
Сергеевна** —
доктор философ-
ских наук, профес-
сор кафедры.



**Сабиров
Владимир
Шакирович** —
доктор философ-
ских наук, зав. ка-
федрой.

Авторы работают на кафедре философии и истории Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (Новосибирск). Постоянные авторы журнала. E-mail: sabirov-soina@211.ru

Рано или поздно, под старость или в расцвете лет несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов.

А. Грин

Настоящая работа представляет собой жанровое исследование особого рода. Речь идет не о сугубо академических изысканиях в области уже становящегося поистине необъятным “степуноведения”. Цель настоящего исследования, как ее понимают авторы, заключается в возможности представления историософского дискурса Ф.А. Степуна как живого, духовного и творчески достоверного интеллектуального феномена, парадоксально реагирующего на многие запросы настоящего и откликающегося на них в своеобразной, опять-таки удивительно живой атмосфере “Бывшего и несбывшегося” и других произведений мыслителя, что стали поистине культурной меморией эпохи.

Подлинная историческая память в высшей степени избирательна, а следовательно, неизбежно по-человечески пристрастна. И потому искать в ней предельной объективности оценок, представлений и констатаций может только устремленный к откровенной морализации истории и при этом предельно рационализированный подход к существу дела. Только там, где история живет и дышит, “как почва и судьба” [5], и где события и люди, обстоятельства и поступки выступают как непреодолимая и вместе с тем единственно возможная “сила вещей” (излюбленное выражение Л.Н. Гумилёва [2]), нет жесткой поляризации исторического добра и исторического зла и уж тем более стремления подогнать авторское переживание исторического процесса под изначально сконструированную доктрину или теорию, в большей степени отражающие самосознание их автора, нежели действительность исторического процесса. Поэтому непреходящее значение мемуаристики Ф.А. Степуна (и в особенности “Бывшего и несбывшегося”) как раз и заключается в *диалогической обращенности* экзистенциально напряженного исторического опыта мыслителя к историческому самоощущению нас, его далеких потомков, вынужденных заново переосмысливать перипетии обрушившихся на нас социокультурных катастроф и потрясений.

В указанном смысле, повторим, именно теперь Ф.А. Степун важен нам не как идеолог, просветитель или хроникер великих исторических событий, но как свидетель грандиозной историко-софской мистерии, в равной степени интересной и значительной — будь то впечатления и жизнь философа на Первой мировой войне, опыт социально-гражданской деятельности в годы двух революций в России или чисто персонологические штудии, портреты и зарисовки значительных исторических личностей, почему-либо привлекавших авторское внимание. Более того, эта живая и творчески активная вовлеченность мыслителя в широчайшую панораму исторического действия отозвалась в нем не только на напряженной философской рефлексией и экзистенциально-личностными переломами и кризисами, но и (что особенно важно) углубленной (и, быть может, отчасти болезненной) *вибрацией совестного сознания*, которое вынуждало его впоследствии выискивать во всех своих действиях как практического участника Первой мировой войны, а затем и видного представителя новой революционной власти Временного правительства свою историческую вину за гибель большой России, не восстановимой в полной мере уже ни при каких исторических обстоятельствах.

Как раз этот сложнейший сплав созерцания и действия, никогда не угасающих воспоминаний и мук совести, что постоянно растравляли незаживающую сердечную рану, и придает историческим обобщениям “Бывшего и несбывшегося” необычайную живость и глубину, тем более значительную при наименьших претензиях автора выдающихся мемуаров на бесспорность и окончательность своих жизненных наблюдений. С одной стороны, такая удивительная (и, возможно, единственная в своем роде) незавершенность исторических умозаключений, чреватая романтическим (почти гриновским) устремлением к вечной изменчивости форм и состояний бытия даже в уже застывшей магне исторического процесса, а с другой — невероятным образом дополняющая ее холодная и взве-



Ф.А. Степун.
Гейдельберг,
ок. 1905



СУДЬБА



шенная чуткость наблюдений слишком много пережившего и передумавшего человека, в действительности безотносительная к полемическим пристрастиям и оценкам, представляют собой совершенно уникальное духовно-творческое явление, требующее самого чуткого внимания многих терпеливых исследователей. Попытаемся приблизиться к постижению данного тезауруса живой историософии, не претендуя, разумеется, ни на бесспорность своих рассуждений, ни уж тем более на их окончательность и категоричность.

“Бывшее и несбывшееся” как историософская мемуаристика

Многие знатоки просто считают их лучшими мемуарами русского зарубежья.

Ю. Архипов

Рассматриваемое произведение Ф.А. Степуна, по-видимому, нельзя считать ни воспоминаниями, ни автобиографией, ни даже дневниковыми записями хроникера двух революций и гражданской войны в России. По нашему глубокому убеждению, “Бывшее и несбывшееся” представляет собой совершенно оригинальный жанр историософской мемуаристики, лишенный, однако, доктринерского схематического конструирования событий и одиозно-партийного их истолкования. По сути, это живая философская рефлексия, отличительная особенность которой — не сугубо рациональные комментарии к явлениям, событиям и обстоятельствам русской жизни начала XX века, но непосредственная и пылкая вовлеченность автора в мистерию русской исторической драмы в качестве уже не зрителя или даже хроникера, а *героя и судии* одновременно, причем без возможности выбора ролей и дистанцирования от всего происходящего. И самое главное: книга Степуна наполнена необыкновенной жизнеутверждающей силой ввиду огромной ли личностной привязанности автора к описываемым им событиям, острой ли наблюдательности его ума, честности ли его позиции (он никого не обличает и не изобличает, не судит и не навешивает ярлыков), нескрываемой ли любви к оставленной России...

Многие философы Серебряного века, попавшие в водоворот событий первой половины XX столетия, оставили после себя произведения, в которых данные события были не только описаны, но и в той или иной степени осмыслены и по-своему оценены. В этом плане интересно сравнить, например, “Самопознание. Опыт философской автобиографии” Н.А. Бердяева [1] и “Воспоминания” Н.О. Лосского [4]. На фоне упомянутых произведений известных русских мыслителей анализируемая работа Ф.А. Степуна, с нашей точки зрения, сильно и выгодно выделяется рядом существенных моментов:

• Всех отмеченных выше русских философов можно без всякой натяжки назвать в той или иной степени персоналистами. Однако их “персонализмы” качественно отличаются друг от друга. Скажем, персонализм Бердяева в его “Самопознании” откровенно и категорически эгоцентричен: все общественно-исторические и культурно-цивилизационные события рассматриваются философом в аспекте его личных экзистенциальных переживаний. Строго говоря, для Бердяева основной познавательный интерес был сосредоточен на нем самом и разнообразной гамме его жизнеощущений, что не позволило мыслителю увидеть в мире, обществе, людях, трагическом развороте отечественной истории глубокие и нетривиальные закономерности, усмотренные зорким оком Степуна. Умозрительный же персонализм Лосского, пытавшегося узреть личность, хотя бы потенциальную, даже в атоме и молекуле, “закрыв” от философа персонализм реальных исторических процессов, свидетелем которых он был и как непосредственный участник, и как философ-созерцатель. К тому же Лосский был фактически одним из тех немногих отечественных мыслителей, что построили некую целостную философскую систему, охватывающую различные области знания, и при этом проигнорировали именно философию истории, что вызывает самое искреннее удивление: как можно жить в переломную и трагическую историческую эпоху и оставить ее вне философской рефлексии?!

• Оба мыслителя — Бердяев и Лосский — обнаруживают явную приверженность к доктринальным оборотам мысли и сознания. Обладая незаурядным философским дарованием и склонностью к панорамным аналитическим обобщениям, они волей-неволей подгоняли реальность под свои теоретические построения и потому не были готовы к свободному, живому, не опосредованному изначально сконструированной теорией восприятию событий и обстоятельств жизни, столь мощно заявившему о себе в мемуаристике Степуна. Здесь именно “сознание жизни” (по замечательному суждению Ф.М. Достоевского [3]) упорно и последовательно одолевало в их произведениях жизнь как таковую, в результате чего читатель, по существу, имел дело с очередной умозрительной конструкцией, пусть даже интеллектуально значительной и оригинальной. Степун же, созерцая историю и самым непосредственным образом участвуя в ней, никоим образом не был доктринером и тем более отвлеченным теоретиком. Все события, пережитые философом, воспринимались и осмыслялись с позиции человека, которому приходится решать вопросы своей личной жизни и смерти, судьбы близких и в конечном счете России, которую он бесконечно любил и не мог забыть ни при каких обстоятельствах. И поскольку по характеру своего дарования Степун был не только мыслителем, но еще и писателем, он менее всего был склонен к резонерству, моралистической дидактике, особенно нетерпимой на фоне радикальных исторических потря-



СУДЬБА



сений. Наблюдая великое разнообразие человеческих типов в дореволюционной и послереволюционной России, Степун умел чувствовать и мыслить в конгениальном жизненном регистре. И этот уникальный дар эмпатии, со-чувствия и со-переживания не только помог Степуну выстраивать отношения с людьми, весьма далекими по происхождению, социальному положению, жизненным убеждениям и пр., но и отчасти сохранил жизнь не только ему самому, но и его близким.

• И Бердяев, и Лосский прежде всего были людьми академической культуры. До революции они, представители дворянского сословия, прожили в целом вполне благополучную жизнь. (Правда, Бердяев, одно время увлекавшийся марксизмом и участвовавший в революционном движении, был сослан на несколько лет в Вологодскую губернию, что весьма остудило его революционный пыл.) Жизненный опыт Степуна, напротив, аккумулировал в себе неизмеримо больше событий, форм деятельности и географии их осуществления, драматизма и даже трагизма личного существования, преломившихся впоследствии в нем в качестве особого историософского задания, столь же значительного, сколь и неотменимого. Можно также смело утверждать, что Степун гораздо глубже и полнее представлял себе жизнь простого народа, нежели Бердяев и Лосский, которые в силу своего сословного происхождения и особого рода деятельности тесно не пересекались с народной стихией. Так, Бердяев, несмотря на описанный в “Самопознании” собственный опыт общения уже накануне революции с философствующими и религиозно озабоченными представителями народа, не мерз в окопах вместе со своими солдатами, не был делегирован ими в Совет рабочих и солдатских депутатов, не вел разъяснительные беседы с военнослужащими в период морального разложения армии после Февральской революции, не торговал после октября 1917-го на блошиных рынках ради куска хлеба... Все перечисленное выпало на долю именно Степуна.

• В отличие от двух других выдающихся русских мыслителей Степун имел уникальный опыт добывания средств существования самым простым и грубым физическим трудом. Перед высылкой из страны он в течение нескольких лет был организатором и членом “дворянской коммуны”, созданной в имении родителей жены Натальи: интеллигентные и образованные представители ранее привилегированного сословия вынуждены были в буквальном смысле слова собственными руками выращивать хлеб и другие продукты земледелия и животноводства.

Вообще особый житейский опыт Ф.А. Степуна, пропущенный сквозь призму его неординарного и в то же время лишенного доктринерского склада интеллекта (речь идет прежде всего о его работе “Бывшее и несбывшееся”), внушает нам, его далеким соотечественникам, гораздо большее доверие, чем

многие исторические штудии российских “отцов мысли”, которые и в эмиграции оставались в плену как внутрипартийных споров, так и непреклонных схематизмов сознания. И в этом смысле указанный опыт представляет чрезвычайно много материала для размышления не только о непосредственно описываемых автором событиях, но и о реалиях нынешнего дня, о будущем России и мира в целом.

Есть еще один, на наш взгляд, важный момент, характеризующий “Бывшее и несбывшееся” как жанр живой историософии. Философствование Ф.А. Степуна о России, ее культуре и истории, переживающей, по словам Ф.И. Тютчева, “минуты роковые”, озаряется глубокими экзистенциальными переживаниями автора, до конца дней своих ощущавшего личную вину за случившуюся с Родиной великую и непоправимую катастрофу, исход из которой был равносильен для него изгнанию из земного русского Эдема. Именно поэтому Степун, как никто другой из очутившихся в вынужденной эмиграции русских философов, оказался наделенным глубоким и выстраданным покаянным сознанием — главной отличительной чертой православного христианина. Поэтому мыслителю дано было не столько рефлексировать над исторической бедой России, сколько мучиться и скорбеть вместе с ней, за нее и за всех виновных и безвинных в этой страшной круверти истории. И только в данном контексте экзистенциально напряженной страдающей мысли может быть адекватно понято суждение Степуна о *христианском логосе, осознавшем себя как особое философское задание*: “Ныне я знаю, что христианская философия мыслима только на путях безоговорочного отречения от философствующего христианства. Нужна и возможна философия твердо и искренне верующих христиан, но невозможно и ненужно ни философское обоснование, ни философское истолкование христианства” [6, с. 276]. Напомним, приведенная мысль принадлежит бывшему неокантианцу. В этой связи закономерно возникает вопрос о том, каким образом произошло религиозное обращение Степуна, как бывший неокантианец стал мыслить в традиции русской религиозной философии.

Основные вехи биографии Ф.А. Степуна

В его жилах не текло ни одной капли русской крови. Тем не менее я не встречала в своей жизни другого такого типично русского москвича.

В. Пирожкова

Прежде чем обратиться к анализу и осмыслению ключевых идей “Бывшего и несбывшегося”, необходимо хотя бы вкратце охарактеризовать жизнь и очень разностороннюю личность Ф.А. Степуна — “типичного русского москвича” (слова одной из его учениц).



СУДЬБА



Федор Августович Степун родился в Москве в 1884 году в обрусевшей семье. Отец Федора Августовича был выходцем из Восточной Пруссии, мать, с которой философ и писатель был весьма дружен, происходила из шведо-финского рода Аргеландеров. Детство, оставившее глубокий след в душе Ф.А. Степуна картинами русской природы и быта, прошло в Калужской губернии, где отец занимал пост директора писчебумажной фабрики. В 11-летнем возрасте мальчик был крещен в православную веру. По окончании гимназии Ф.А. Степун продолжил образование в Москве, в реальном училище св. Михаила. Он рано обнаружил интерес к гуманитарным наукам и философии. Однако диплом об окончании реального училища не давал возможности продолжить образование в России. Поэтому в 1902 году Федор Августович отправился изучать философию в Гейдельбергский университет. В то время там преподавал В. Виндельбанд — один из виднейших представителей неокантианства. Под его руководством Ф.А. Степун в 1910 году защитил докторскую диссертацию на тему “Историософия Владимира Соловьёва”. А затем вместе с С.И. Гессеном, Э.К. Метнером и Б.В. Яковенко издавал журнал “Логос”; посвященный проблемам философии культуры, он представлял собой опыт международного сотрудничества мыслителей России, Германии, Италии и других стран. Не получив возможности работать на академическом поприще, Степун стал разъезжать по России с лекциями на философские, религиозные, искусствоведческие темы. Так им были “просвещены” фактически все крупные города Поволжья, от Нижнего Новгорода до Астрахани. Побывал он и в городах средней полосы и юга России, а также на Кавказе, Закавказье и даже в Туркестане (Ташкенте и Коканде). В начале Первой мировой войны Степун, призванный в армию, перед отправкой на фронт поехал в Сибирь за новобранцами, добравшись на поезде до Иркутска. Мы видим, как широка была география его поездок по огромной стране, обладавшей всеми признаками имперского величия, однако без какого бы то ни было намека на колониальное рабство населявших тогдашнюю Россию народов. Насколько глубоко эти поездки философа обогатили, напитали воздухом родного отечества, языка и культуры, можно судить по удивительной фразе, составляющей, пожалуй, квинтэссенцию его видения и чувствования России: “Какое счастье дышать такими далями” [6, с. 197].

С началом Первой мировой войны Ф.А. Степун, как уже говорилось, оказался на фронте. Свои переживания и не лишённые глубины размышления, связанные с участием в военных действиях, Федор Августович изложил в романе “Записки прапорщика-артиллериста” (1918) [см.: 8], признанном критиками одной из лучших книг о Первой мировой войне. Благодаря высокому заслуженному авторитету в среде солдат и офицеров Степун был избран в состав делегатов Совета рабочих



Снимок, сделанный
в начале Первой
мировой войны

и солдатских депутатов, а после февраля 1917 года занимал пост начальника политического управления Военного министерства во Временном правительстве. Октябрь 1917 года Степун встретил в Петрограде, откуда вместе с женой Наталией Николаевной с большим трудом выбрался в Москву, где их ожидала голодная и холодная, полная всяких опасностей жизнь.

Какое-то время Ф.А. Степун участвовал в театральной деятельности, пытаясь классику мировой драматургии приспособить к реалиям начинающейся пролетарской “культуры”. Потерпев неудачу на данном поприще и дабы избежать голодной смерти, в 1919 году Степун вместе с женой обосновался в деревне, где вместе с другими родственниками организовал небольшую коммуну, и этот уникальный в своем роде опыт длился до 1922 года. Жизнь в деревне Ивановке протекала не только в нелегком крестьянском труде, но часто обострялась разного рода приключениями и опасностями, возникавшими на фоне классовой борьбы с “недобитыми буржуями, помещиками и попами”. Только чудо и артистическая натура Степуна, его живой наблюдательный ум помогли семье выживать в этих сложных условиях послереволюционного быта.

Как всегда при встрече с неординарными событиями, у Степуна рождались оригинальные философские обобщения. Так, опыт общения с советскими чиновниками позволил ему выделить два крайне опасных типа человека: ренегата и “оборотня”. Эта достаточно оригинальная и внутренне выстраданная историософская антропология, полностью лишенная напускного педантизма и резонерствующего морализма, несомненно представляла собой особый опыт созерцания человека в экстремальных жизненных ситуациях, по духу и тону во многом близких гораздо более поздним по времени откровениям В. Шаламова и как бы предвосхищающих их идейно и тематически: “В противоположность ренегату, оборотень — человек многомерно-артистического сознания. Поклонение новому не требует от него отречения от старого. Разнообразные жизнен-



СУДЬБА



ные обличия он так же легко совмещает в себе, как актер разные роли. С большевиками он большевик, с консерваторами — консерватор. С первыми он проливает кровь, со вторыми — слезы. И то и другое в одинаковой степени лживо, но искренне. В отличие от ренегата, некогда смотревшего на мир правым глазом, а ныне смотрящего левым, оборотни всегда смотрят на мир с перемигом: левым глазом подмигивают правому, а правым — левому. Двоя своей раскосостью мир, оборотень, двоящимся у него перед глазами миром все глубже раздваивает свою душу. Он легко обещает просителю всякое содействие и может при случае показаться душевным человеком, но верить ему нельзя: придя в назначенный срок за ответом, ты иной раз рискуешь нарваться в твоём вчерашнем покровителе на стопроцентного большевика, который не преминет выместить на тебе минуту безответственной снисходительности” [6, с. 584–585].

Эта удивительная способность людей трагически переходной эпохи изменяться в зависимости от особенностей среды и обстоятельств — вплоть до полнейшей аннигиляции всякого устойчивого внутреннего содержания — парадоксальным образом оформляется у Ф.А. Степуна в особую персоналистическую проблему, столь же ясную и предельно конкретную историсофски, сколь и абсолютно неразрешимую в сугубо житейском плане. Строго рационально ее можно сформулировать следующим образом: почему несмотря на огромное число умных, образованных и лично интересных людей, с “идеями”, демократическими убеждениями и неподдельной любовью к Отечеству, так или иначе участвовавших в Февральской революции, никому из них не только не удалось преодолеть распад большой России или хотя бы противопоставить большевикам некое подобие стратегии ее будущего восстановления?

Что это было в действительности: их собственная духовная ничтожность, не позволявшая взять на себя великую историческую ответственность вместе с неизбежными роковыми гражданскими последствиями такого рода решений, или же трагический выбор Провидения, осуществляющий некую *выбраковку* уже изживающего себя социального слоя и противопоставляющего ему пусть и безобразное в своем агрессивно-наступательном раже, но все же жизнеспособное, а стало быть, более пригодное к новым историческим решениям молодое поколение? В строгом смысле слова эта роковая дилемма терзала Ф.А. Степуна и во время жизни на Родине, и в эмиграции. Скажем честно, он так и не нашел ее положительного разрешения. Кровно привязанный к великолепной и уже уходящей в прошлое культуре и быту имперской России, философ с недоумением и отвращением взирал на Россию постреволюционную и, не желая стать ренегатом (каким, наверное, в его глазах был Н.А. Бердяев, сидевший под портретом Сталина у себя в доме во французском Кламаре), пытался сохранить свое историко-

софское видение в максимальной чистоте и силе. Никакие превратности эмиграции не смогли помешать этой внутренней стойкости и, быть может, даже усилили ее экзистенциально.

В 1922 году Ф.А. Степун стал пассажиром одного из двух “философских пароходов”, на которых советскую Россию покинул цвет русской гуманитарной культуры. Несмотря на крайне тяжелую в эмпирическом смысле жизнь в советской России расставание с Родиной было горьким, и эта горечь только усилилась в эмиграции. Объяснение тому находим у самого Степуна: “Чем дольше живешь в Европе и чем глубже проникаешь в ее культуру, тем яснее становится, быть может, единственное преимущество русского человека: его *первичность и настоящность*” [7]. Горький эмигрантский хлеб Степун зарабатывал преподавательской деятельностью сначала в Берлине, в Русском научном институте, затем в качестве профессора социологии в Дрезденском техническом университете. В 1937 году он как русский эмигрант был отправлен нацистским режимом на пенсию. После окончания войны был приглашен в Мюнхенский университет, где ему была предоставлена специально созданная кафедра истории русской культуры. До конца жизни Степун вел активную творческую жизнь, совмещая преподавательскую деятельность с философскими, культурологическими и искусствоведческими изысканиями и публикуя свои труды на русском и немецком языках. Яркая и драматичная жизнь мыслителя и писателя прервалась в 1965 году.

Ф.А. Степун как мыслитель со своеобразным творческим логосом и резко выраженными авторскими симпатиями и антипатиями до конца своих дней тяготел к “большой” дореволюционной России, с ее особым бытом, неповторимой культурой и оригинальной творческой атмосферой, даже приблизительного подобия которой он никак не мог отыскать на Западе. Данные реминисценции, ставшие своеобразной *исторической памятью* большого и неординарного человека, не могли не затронуть одну из главнейших исторических тем мыслителя — *о бытии человека на войне*, — к которой он подошел с предельным бесстрашием и редкой творческой целеустремленностью.

Ф.А. Степун о смысле войны

Не видевший, не переживший войны никогда в ней ничего не поймет, то есть не откажется от понимания, объяснения и оправдания ее.

Ф.А. Степун

О смысле войны рассуждали многие философы. Большинство из них, несмотря на различие подходов к этому сложнейшему социальному феномену, объединяет преимущественно то, что они имели о войне в основном книжные представления. Но совсем другое дело — Ф.А. Степун. Получив философское образование в Гейдельбергском университете, он воевал на фронтах Первой



СУДЬБА



мировой войны. Степун был не штабным работником, но именно фронтовым офицером и вместе со своими солдатами, призванными из Сибири, участвовал в прямых боевых столкновениях с противником, где не только до мелочей постиг правду окопной жизни, но и глубоко проник в душу простого русского солдата, которого стал уважать и любить, за что по праву пользовался в солдатской среде огромным авторитетом.

К теме войны Ф.А. Степун неоднократно обращался в “Бывшем и несбывшемся”. Из книги можно почерпнуть не только глубокие философские размышления, но и много интересных подробностей, характеризующих особенности военного времени, боевых действий на фронтах Первой мировой войны, окопных будней, отношений между людьми на фронте, о которых писатель и философ повествует именно как протагонист, живой и непосредственный их участник. Много интересных деталей фронтовых и военных будней, служащих яркими иллюстрациями к философским и историософским обобщениям Степуна относительно темы войны, можно найти и в его романе “Из писем прапорщика-артиллериста”.

Боевое крещение Степун принял в Галиции. Впечатления войны, острые и запоминающиеся, связаны в основном с впервые увиденными ранеными и убитыми, смерть предстала перед мыслителем как самое обыденное, если не сказать вполне заурядное дело, чудовищным размахом своим уничтожающее общежитийские рассуждения о “гуманизме” и “сострадательности”. К ужасу смерти на войне предстояло привыкнуть как к самому будничному бытовому явлению и в конечном счете научиться с ним “жить”.

Поразительным военным наблюдением Степуна оказалось резкое различие в психосоциальных переживаниях войны у различных групп русского общества, явно замалчивавшихся официальной пропагандистской “машиной”. Так, совершенно неожиданно оказалось, что в осмыслении сущности войны и предназначения ей того или иного человека русское воинство решительно отметало всякий прекраснотушный энтузиазм и уж тем более “вульгарно-патриотические” порывы. Например: «Солдаты все, как один, относились к ним [добровольцам] с решительным недоброжелательством, а подчас и с явным презрением, и ругали их самыми отборными словами. <...> Добровольцев они презирают потому, что добровольцы пришли в батарею “зря”, потому что они ничего “настоящего” все равно делать не могут, потому что их привела в ряды защитников отечества не судьба, а фантазия, потому что для них театр военных действий в минуту отправления на него рисовался действительно всего только театром, потому, наконец, что добровольцы эти бежали от того глубоко чтимого солдатами священного, полезного и посильного им домашнего труда, который после их побега остался несвершенным на полях и в хозяйствах» [8, с. 75].

Подлинная историософия войны, только начавшая приоткрываться Ф.А. Степуна на полях Первой мировой войны, сразу оформилась в виде безоговорочно принятого мыслителем убеждения: в плане переживания и чувствования войны никакая *романтизация* ее рокового и страшного дела решительно невозможна. В лучшем случае романтизация есть некое полуофициальное “оправдание” трагической неизбежности непреодолимой исторической судьбы, а в худшем — пропагандистская пошлость, искажающая реальное существо дела наспех сочиненной мифологией, которую подлинная история войны (если таковая вообще возможна) обязательно рано или поздно разоблачит. Поэтому глубокий, экзистенциально выверенный опыт войны, как правило, вбирает в себя абсолютно всё: и ужасы сражений, и счастье недолгого отдыха, и, как ни парадоксально, кошмар тыловых госпиталей, оказавшийся, по Степуна, много ужаснее непосредственного соприкосновения со смертью на поле боя.

В цивилизационном и в духовном смысле Первая мировая — практически неизвестная война, поскольку она оказалась в тени двух революций и гражданской войны в России и, конечно, Второй мировой войны. Вот почему, читая Степуна, узнаешь много удивительных и отчасти странных с точки зрения современного миропонимания обстоятельств и вещей. Они касаются прежде всего социокультурного фона двух великих войн XX века. И, по-видимому, не будет особой натяжкой сказать, что многие бытовые реминисценции Первой мировой в мемуаристике Степуна — это, по сути, *эпитафия* классической русской дворянской интеллигенции XIX — начала XX века, трагический историософский реквием о навсегда уходящем антропологическом типе, его скорбях, переживаниях, рефлексии, любви и ненависти.

Сейчас несколько странно читать о досугах русского офицера на фронте. Оторванные от своего культурного окружения, офицеры удивительным образом воссоздавали его... на войне, читая газеты, причем в первые месяцы войны не только отечественные, но и издававшиеся в странах, воевавших с Россией, — таким образом они могли сравнивать сводки с фронтов в интерпретации отечественных и зарубежных корреспондентов. Степун даже имел при себе собственную библиотечку и под влиянием военных впечатлений заново открывал для себя произведения русских и зарубежных писателей: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.С. Тургенева, И. Гёте, Дж. Лондона и др. Часто в своих письмах он делился с женой или матерью новыми идеями и смыслами, обнаруженными в тех или иных произведениях под впечатлениями войны, и в этом почти ушедшем в прошлое эпистолярном жанре мы ощущаем принципиально иной тип мирозерцания, где все, даже мельчайшие бытовые события есть сложный, никогда не прекращающийся *разговор о душе*, интересный всем и всегда, поскольку речь идет о *подлинно человеческом*.



СУДЬБА



Исключительно интересны в обозначенном плане описания празднеств и застолий на фронте, в особенности празднование Рождества и Пасхи. Праздничные богослужения сменяли веселые и порой бурные застолья. Весьма оригинальны размышления Степуна о праздновании на фронте Нового года, воспринимаемого как наступление нового исторического *эона*, когда религиозная метафизика празднеств практически исчезает из обихода, заменяясь лихорадочным ожиданием Нового года как некоей восторженной квинтэссенции *счастливого будущего*: “Я не помню, когда полюбил эту ночь: музыку, вино, мечту и маску, но я знаю, что с чувством Нового года в душе нельзя стареть и невозможно умирать. Им опозорится старость и обесмыслится смерть. Сейчас здесь я понимаю это гораздо глубже и отчетливее, чем понимал раньше. И это постижение полно для меня глубокой скорби и резиньяции. Новый год единственный совсем не религиозный, а если хочешь, чисто философский праздник. В нем нет прославления какого-либо метафизического события. Новый год трансцендентален: в нем утрачивается всего только касание формы времени с бесформенной вечностью” [8, с. 35].

И еще об одном необыкновенно глубоком экзистенциальном военном переживании Степуна, внутренне объединяющем его — русского рефлексирующего интеллигента — с русским народом, с которым в минуты тягчайших жизненных испытаний мыслитель осознал себя единым целым. Речь идет об отношении к смерти. Здесь Степун в какой-то степени питался той народной мудростью, что была органически свойственна его солдатам, бывшим крестьянам-сибирякам: «Вера же в то, что Бог Россию не выдаст, была в крестьянской, а потому и в солдатской России всегда тверда. <...> Этою верою объясняется и та на первый взгляд непостижимая небрежность, с которою наши сибиряки относились к своим обязанностям. Так, например, все они неохотно окапывались на позиции. Сколько раз спрашивал я: “Отчего, ребята, не роете настоящих окопов?” И всегда получал один и тот же ответ: “Нам, ваше благородие, не к чему. Австрияк оттого и бежит, что хорошие окопы любит, из хороших окопов кому охота в атаку подыматься, а мы из наших завсегда готовы”. Характерным образом в тылу окапывались много охотнее, чем на позиции. Наши скрытые в лесу тыловые стоянки вырастали иной раз в целые деревни. Тут плотничали и столярничали с увлечением, в веселом хозяйственном раже, забывая о войне, быть может, и в правильном ощущении, что от дождя и холоду человеку своими силами уберечься можно, а от смерти нет, и пытаться не стоит» [6, с. 293].

Такая странная глубоко метафизическая “апофатика” войны, в высшей степени свойственная национальному менталитету, передавалась интеллигенции, приучая ее видеть и созерцать войну в духовном, сверхчувственном плане (как наполне-

ние души и ужасом грядущей смерти, и восторгом ее грядущего преодоления), а также постигать историософскую непреложность военного противостояния, своего рода трагическую неизбежность *пришествия* войны в сферу мирного бытия людей, где ей определены меры и сроки, а главное — поставленные самим Провидением законы ее будущего изживания. Вот как рассуждает мыслитель: «Любовь и войну роднят ошеломляющая необычайность как той, так и другой и непосредственное отношение обеих к последней тайне жизни, к самой сущности, к абсолютному. Как бы страшна ни казалась нам смерть — диалоги, что ее именем ведут с нами немецкие снаряды, все же диалоги с вечностью. Высшего же наслаждения души смертных, очевидно, не знают, как прислушиваться к “песням небес”» [там же, с. 296].

Особенно характерны в отмеченном плане воспоминания первого боя, кипение неопишуемого восторга от первой атаки, полностью разрушающего столь привычные классическому русскому интеллигенту размышления о бытии человека на войне: “Скача через час после начала боя по обстреливаемому неприятелем шоссе к себе на батарею и сейчас же обратно к своему взводу, я кипел тем же неопишуемым восторгом, в котором сто лет тому назад несся в свою первую атаку юный Петя Ростов. Для меня нет сомнения в том, что древний восторг боя, в котором кровь ревет, как река в половодье, душа слышит нездешнюю песнь, а сердце блаженно замирает в кольце предсмертного холода, наполняет нас ни ненавистью к врагу, ни жаждою победы и даже ни любовью к родине, а чем-то возносящим нас над жизнью и смертью. <...>

Живое ощущение этого сверхполитического и даже сверхисторического смысла войны своеобразно выражено в солдатском сказе, сложенном в годы первой Великой войны:

Эх, кого винить, кого грехом корить,
Эх, как бы знать нам то, кабы ведати?
Да не немцы-то не поганые,
Не австриец, болгарин — продана душа,
Да не кто человек не виновен в войне,
Сама война с того света пришла,
Сама война и покончится.

Такое же самое отношение к войне и неприятелю встречалось и у немцев” [там же, с. 286–287].

На войне, то есть в ситуации максимального напряжения сил и возможностей природы человека, как никогда проявляется его потребность в столь же максимальной подлинности переживаний, и дружба в период почти повсеместного оскудения душевности действительно оказывается одним из последних прибежищ человечности. Именно тема фронтовой дружбы стала особо популярной в 1920-х годах, причем практически во



СУДЬБА



всех странах Европы: устраивались международные съезды фронтовиков, где встречались не только боевые товарищи, но и бывшие противники. Общий трагический и скорбный опыт войны удивительным образом объединял их. Между ними не было ненависти, к сожалению неожиданно возникшей и нагнетающейся ныне, уже в XXI веке между не только побежденными и победителями, но и бывшими союзниками во Второй мировой войне. Несомненно, один из глубочайших духовных смыслов войны, проникновенно и точно осмысленный Степуном, как раз и заключается в том, что она, подобно любви, “сильной как смерть”, открывает перед человеком грандиозные онтологические глубины, и он начинает понимать сложную метафизику бытия, во взаимосвязях и сцеплениях которой внезапно возникает самое высшее и абсолютное. И если неверующих в Бога на войне нет, то и любовь обретает там высочайшую (подобную смерти) силу и значительность.

Более того, именно война по-новому раскрыла перед Ф.А. Степуном душу простого русского народа, способного быть в высшей степени снисходительным и участливым к недавнему *врагу*. Еще на пути к фронту писателя поразила сцена, которую он наблюдал на вокзале одного из городов за Уралом, где военнопленные австрийские офицеры и солдаты не только свободно ходили по станционной территории, но и заполонили все пространство, примыкающее к буфетам. “До чего же характерно для русского отношения к врагу, что никому из нас и в голову не пришло попросить австрийцев очистить нам место и потребовать от буфетчика, чтобы в первую очередь кормили своих. Я знаю, пленным австрийцам и немцам не всегда жилось хорошо в наших военных лагерях. Допускаю какие угодно жестокости, но на одном настаиваю: русский человек жесток только тогда, когда выходит из себя. Находясь же в здравом разуме, он в общем совестлив и мягок. В России жестокость — страсть и распушенность, но не принцип и не порядок. Иначе у немцев: быть может, немецкие офицеры по человечеству и жестоки не более нас, все же они по разумной принципиальности никогда не потерпели бы, чтобы им у себя, в Германии, не хватило бы места и еды, потому что все места заняты врагами. Я не говорю, что мы лучше немцев, я только устанавливаю, что мы весьма отличны от них” [там же, с. 273].

Утонченная, почти детская по глубине, ясности и незлобivosti “евангельская” *простота* души истинно русского человека, в минуты серьезных испытаний не знающего и не желающего знать ни этнических, ни сословных, ни граждански-правовых разграничений и фиксаций, была, пожалуй, наиболее сильным впечатлением Степуна и, вероятно, одним из его глубинных историософских пророчеств, не потерявших своего значения по сей день и со временем становящихся все актуальнее. Особенно углублялись такие своеобразные впечатления в моменты непосредственно-бытовых “касаний” отечествен-

ного интеллигента к жизненной “атмосфере” народной стихии: «Переходя из офицерской землянки в солдатские, я всегда чувствовал, что не только спускаюсь в мир необразованности, но одновременно и поднимаюсь на какую-то высоту. Очень далекий по своему воспитанию как от право-славянофильского, так и от лево-интеллигентского народничества, я на войне все же пришел к убеждению, что “варварство” русского мужика много ближе к подлинным высотам культуры, чем средне-интеллигентская образованность. Ничего удивительного в этом, впрочем, нет, если понимать под культурой ту одухотворяемую живым боговерием, мифическим природочувствием и традиционно-крепким бытовым укладом форму жизни, которую мы, с легкой руки Шпенглера, привыкли противопоставлять западноевропейской цивилизации, давно уже подменившей веру — метафизической проблематикой, живую нравственность — мертвым морализмом и здоровую народную жизнь — функционированием политизированных масс» [там же, с. 281].

Конечно, на войне как в солдатской массе, так и среди офицерского состава встречались разные люди — грубо говоря, и плохие, и хорошие. Однако в сознании и памяти Ф.А. Степуна прочно отложилась глубочайшая уверенность в преобладании позитивных качеств в национальном характере русского народа, в благородстве и человечности его духовно-душевного устройства.

(Окончание следует)

Литература

1. Бердяева Н.А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. М.: Дэм, 1990.
2. Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: Мысль, 1989.
3. Достоевский Ф.М. Сон смешного человека // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 25. Л.: Наука. 1983. С. 119.
4. Лосский Н.О. Воспоминания: жизнь и философский путь. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1994.
5. Пастернак Б.Л. Стихотворения. Поэмы. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1989. С. 270.
6. Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. М.: Прогресс-Литера; СПб.: Алетейя, 1995.
7. Степун Ф.А. Идея России и формы ее раскрытия // Федор Августович Степун. Жизнь и творчество. Избранные сочинения / вступ. ст., сост. и коммент. В.К. Кантора. М., Астрель. 2009. С. 625.
8. Степун Ф.А. Из писем прапорщика-артиллериста. Томск: Водолей, 2000.